

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

ПРОФЕССОР
БЕССМЕРТИЯ

Часть сборника: Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей

Константин Случевский
Профессор бессмертия

«Public Domain»

1891

Случевский К. К.

Профессор бессмертия / К. К. Случевский — «Public Domain»,
1891

В повести «Профессор бессмертия» (1891) Случевский пытается, опираясь на достижения естественных наук, доказать религиозную идею бессмертия души.

Константин Случевский

Профессор бессмертия

Лет десять тому назад Семену Андреевичу Подгорскому, молодому человеку, красивому и не бедному, вышедшему из Московского университета кандидатом и служившему в одном из министерств, предстояла на лето командировка в калмыцкие степи. Командировки требуют некоторых подготовлений к предстоящему делу, и Семен Андреевич занимался ими. Между прочим, обратился он и к бывшему попечителю калмыцкого народа, за старостью лет вышедшему в отставку, и получил от него много материалов, справок, советов.

Между прочим, бывший попечитель калмыков сказал ему, что в степях познакомится он, даже непременно должен познакомиться, с чудачком первого разбора, неким доктором медицины, Петром Ивановичем Абатуловым; что небольшая усадьба его, на берегу Волги, Родниковка, это рай земной и, как место отдохновения самое лучшее; что жена его, Наталья Петровна, женщина красивая, но очень вольная и даже, как выразился попечитель, может быть, преступная; что сам Абатулов посвятил себя даровому лечению всяких больных и что он «проповедует» что-то очень дикое, а именно доказывает, как он выражается, по данным, совсем научным, что душа человека не может не быть бессмертной, но, в то же время, сам в церковь не ходит.

– Я случайно как-то, – объяснил бывший попечитель калмыцкого народа, – присутствовал при одном подобном его разговоре и, помню очень хорошо, доказывал он нам как-то очень странно бессмертие души человеческой. Чудак! Его так и можно назвать: «профессор бессмертия»!

Бывший попечитель калмыков снабдил Семена Андреевича письмом к Абатулову.

– Смотрите, не попадитесь на удочку к Наталье Петровне, – сказал он, отдавая письмо.

Все эти сообщения не пропали для Семена Андреевича, и, выработывая свой маршрут по калмыцким степям, он устроил так, чтобы ему побывать в Родниковке два раза, вместо одного.

I

На самом берегу Волги, южнее Сарепты, расположено, как бы сказать... поместье? нет! слово поместье напоминает помещика, – между человеком и землею существовала связь не меньшая, чем между следствием и причиной, причем определение того: помещик ли породил поместье или поместье помещика, являлось исстари повторением вопроса о молоте и наковальне.

Эти тридцать девять десятин земли в нашем рассказе не поместье, а собственность Петра Ивановича Абатулова, человека лет пятидесяти от роду, доктора медицины, высокого роста, с небольшою лысиною, чрезвычайно доброго, хотя и необходимого, задумчивого.

Поземельная собственность Петра Ивановича, расположенная на правом, на горном берегу Волги, вытягивалась вдоль реки узкой полоскою и являла в двух половинах своих, низкой и высокой, такие две противоположности, сопоставление которых рядом, бок о бок, граничило с чудом.

Наверху, на правом берегу Волги вдоль отрога, вплотную к его краю, начиналась на сотни верст степь, голая-преголая, летом совершенно выжигаемая солнцем, поросшая будяками и полынью; зимою – царство буранов и снегов. Внизу, под крутым, полупесчаным и полуглиняным, промытым дождями откосом берега, возвышавшимся сажен на тридцать, лицом к другим бесконечным степям левого берега Волги и восходящему солнцу, имелось налицо нечто совсем другое; тут пробивался обильный, всегда одинаково звонкий родник холодной хрустальной воды и давал жизнь и красоту человеческому жилью. Он пробивался для совсем короткой, но

в высшей степени богатой жизни. Считая все многочисленные извивы, которые делал ручеек, скатываясь от горы к Волге, как бы стараясь продлить свое существование, в нем от истока до устья было никак не менее двухсот сажен длины. Последний извив его был особенно любопытен; ручей, круто повернув назад, почти от самой Волги, приближался к своему истоку; вернувшись к нему издали, он был, казалось, уже так близко к цели своего возвращения, к своей колыбели, – но могучая осокорь, словно вспенив жирную, твердую почву своими корнями и подняв ее, направляла возвращавшегося сына земли назад, вспять, в странствие, к Волге; источник попадал в небольшое, ровное русло и сбегал к Волге, уже без всяких извивов, прямехонько, всего сажен пятьдесят, точно убедившись в тщете своих стараний, тихонько журча по мелким камешкам, по тихому-тихому склону. Богатая вода источника делала летом из этого уголка, под защитой высоких откосов, рай земной. Давно ли существует этот источник, Бог его знает, но верно только то, что в долгие-долгие годы он намыл и образовал подле себя богатый сочный нанос чистейшего чернозема и что подле него, подле его чистых, хрустальных струй, на жирной земле, под ласкою южного солнца, разрослись и красовались такие образчики растительного царства, которым мог бы позавидовать любой ботанический сад.

– Далеко ли до Родниковки? – так называлось владение Петра Ивановича, спрашивает у ямщика случайный проезжий.

– А вот она уже из земли вынырнет, барин! – отвечал ямщик. – Недалече!

Трактовая дорога пробежала саженях в пятидесяти от домика Петра Ивановича, открывавшегося подъезжавшему действительно сразу от края берегового отрога. Ямщики с великим удовольствием заезжали в Родниковку: их накормят, напоют, а если чего не дай Бог, в семье у ямщика больной есть, или сам он чем болен, или другой кто больной просил по пути завезти, так Петр Иванович и совет даст, и лекарство даром отпустит.

Жена Петра Ивановича, женщина лет тридцати, Наталья Петровна, красивая и бойкая, считала мужа только безумцем; когда-то фельдшерица, взятая им в жены, она не ценила его; он видел в ней болтушку, кокетку и, против всякой очевидности, думал, что на этом она и останавливается. Никким образом не представлял он из себя Отелло, но не имелось подле него и Яго, который задался бы мыслью раскрыть ему глаза. Дело шло как по-писаному: Наталья Петровна брала от жизни все, что хотела взять, а Петр Иванович оставался в неведении и любил жену бесконечно. Насколько в уезде и губернии читали в народе его, настолько ее не жаловали. Всякого, направлявшегося в Родниковку, злые языки предупреждали, что для Натальи Петровны в ее похождениях – море по колено, и что добрейший в мире муж ничего решительно не знает и, по-видимому, даже не хочет знать.

II

Занялось прекрасное июньское утро над Волгою. Вспыхнуло оно где-то далеко, за необозримыми степями левого берега, и залило красным полымем усадьбу Петра Ивановича, притаившуюся под тридцатисаженым отрогом правого берега, лицом прямо на восток. Пойдет солнце на полдень, наклонится к западу, и усадьба будет объята мягкой полутенью, прохладой. Рай земной! Но теперь, ранним утром, все невеликие комнатки ее были залиты косыми, красными лучами востока; блистал жемчугами и алмазами родник, а в садике, подле него раскинутом, пылали и светились насквозь тысячи всяких розовых, голубых, пунцовых и белых цветов, причем особенно нежно сквозили, словно наливаясь алою кровью жизни, белые лилии, исключительно любимые хозяином.

– Я их особенно люблю, – говаривал Петр Иванович, потому что лилия – цветок Благовещения! Кругом меня степь, обильно поросшая полынью, о которой не раз упоминается в «Апокалипсисе», когда намечаются мрачные краски последних дней мира; подле меня, в саду, дорогой мне цветок Благовещения. Когда-то все, нынче посохшие, безводные степи Иордан-

ские покрывались лилиями Соломоновых песен; оттого-то, что их было там так много, и взята она Архангелом Гавриилом, по пути, в час благовествования; ну и люблю я их очень, потому что очень люблю самое Благовещение!

– Да ведь вы в праздники не верите?

– А все-таки Евангелие первая в мире книга, и повествование о лилии взято непременно с природы. Кто из нас не ожидает какого-либо благовещения? Я, вот, в церковь, действительно, мало хожу, а благовеста церковного, без отрыва ему в сердце, слышать не могу. Я не имею поводов, к великому моему горю, признать в силу умственных заключений божественности Святого Писания – но я словно предчувствую это...

– Но ведь это противоречие?

– И даже очень большое, но что же делать, иначе не могу, пока что-то не разъяснил себе.

С самой той минуты, как заронились первые багровые лучи в комнатки усадьбы, Петр Иванович находился уже при занятии в своей амбулаторной комнате: он принимал больных – прижигал, полоскал, резал, перевязывал. Это повторялось решительно каждый день. Местные люди, большею частью калмыки, знали этот порядок, однажды заведенный. Издалека, с обоих берегов Волги, верст за двести и более, наезжали они к доктору и рассчитывали время своего прибытия, по возможности, так, чтобы быть в усадьбе с вечера. Всю ночь, каждую ночь, подле нее располагался небольшой караван прибывших, менявшихся в своем личном составе почти ежедневно. Пускались по степи стреноженные лошади, виднелся изредка отдыхавший верблюд, просовывая кверху на длинной шее свою губастую голову и совершая жвачку; затепливались костры, строились кибитки, растягивались пологи, звучала калмыцкая, реже немецкая, еще реже русская речь, но песен почти не слышалось. Да и до песен ли было людям, усталым с дороги; всякий здоровый являлся со своим больным, со своею печалью. К восходу солнца открывалась амбулатория.

На этот раз больных прибыло особенно много, и Петр Иванович не мог кончить всей работы с ними до отъезда переночевавшего у него при объезде благочиния, священника, отца Игнатия. Наталья Петровна ранее полудня никогда не вставала, так что кофе гостям приготовлял сам Петр Иванович. Отношения его к священнику были взаимно-дружеские; встречались они часто, знакомы были давно и давно переговорили обо всем решительно. Абадулов приостановил прием больных и вышел в кабинет к отцу Игнатию, которому предстояло выехать в десять часов утра.

Обличие отца Игнатия представлялось чрезвычайно внушительным: высокий рост, длинная седая, совершенно белая и тщательно содержимая борода, длинные кудри густых седых волос на голове, небольшие, но очень выразительные глаза и необыкновенно спокойное выражение лица, – вот что поражало человека при встрече с ним в глухих степях; казалось, что ему более подобало бы священнодействовать в каком-нибудь столичном соборе, а не в этих местах.

Беседа между ним и хозяином за чашкою кофе шла на обычные предметы, в значительной степени «интимного» свойства. В половине десятого казачок, парнишка, взятый из деревни и прислуживавший в доме, пришел доложить, что тарантас готов. Собеседники поднялись с мест, и прощание их служило, так сказать, общим выводом долгого разговора.

– Так как бы это сделать, Петр Иванович, – говорил священник, – чтобы Наталья Петровна, ну хоть когда-нибудь, хоть для видимости, в церковь заехала? Ведь, право, людей совестно, расспросов...

– Ну, уж тут ничего не поделать с нею.

– То-то вот, от рук отбилась! Нехорошо, право, нехорошо. Молодая она и красивая женщина! Ведь и невесть что говорить могут, да и говорят...

– Знаю, знаю, – перебил Петр Иванович, – но что же мне-то делать?..

Петр Иванович только махнул рукою, и отец Игнатий замолчал, находя излишним продолжение речи, уже неоднократно и на тот же предмет веденной.

– Любишь ее больно сильно, Петр Иванович, вот что, ну и попускаешь... а тоже потому, что сам в вере не крепок. Вот ты в душу бессмертную веришь, добрые дела творишь, сердцем чист, а тоже в церковь мало ходишь, тоже только для виду наезжаешь; молитву на устах имеешь, а в сердце ее нет, потому что веры настоящей в тебе нет... Нехорошо, нехорошо, и жалко!

– Да откуда же ее, веры, взять-то, отец Игнатий, если Бог не дал?

– Бог и плодов, и хлебов земных не дал, если их не собирать, а на деревьях да на стеблях оставлять; ты глядишь и не видишь, оттого и веры не имеешь. Ну и пусто, должно быть, подле тебя, Петр Иванович, и в сердце тоже холодно, пусто!!.

Хозяин ничего не ответил и ограничился довольно глубоким вздохом. Собеседники простились; отец Игнатий сел в тарантас, кони тронули, и колокольчик зазвенел. Не успел священник доехать до заворота на трактовую дорогу, как навстречу ему попался тарантас Семена Андреевича. Встречные поглядели друг на друга и разъехались в разные стороны.

Петр Иванович, заслышав приближение другого колокольчика, продолжал стоять у подъезда. Кто бы это мог быть? – думалось ему. Обыкновенно приезжие ночевали у него, и нередко сутки и более, проведенные в прохладной, уютной, оттененной высокими деревьями усадьбе, после жгучих переездов по степи, являлись живительным бальзамом, смягчавшим и улаживавшим припаленные степным блеском глаза и высохшую под острым дыханием грудь. Петр Иванович рад был всякому человеку. В этом отношении он являлся как бы тонким гастрономом: новый человек был для него новым блюдом, и он знакомился с ним, наблюдал, изучал. При условии полного душевного одиночества, несмотря на присутствие очень шумной жены, при нерушимой регулярности занятий – новый человек был для него – театром, музыкою, книгою, посещением общества, чтением газеты, любопытнейшим опытом и исследованием.

Семен Андреевич слез с тарантаса и назвал себя по фамилии, прося позволения воспользоваться гостеприимством Петра Ивановича на самый краткий срок.

– Чем дольше, тем лучше! – ответил хозяин и предложил приезжему войти в дом.

– Жена моя еще не выходила, так не взыщите, что угощать вас кофеем или чаем буду я.

– Благодарю вас, – ответил Подгорский, – но я только что пил.

– Где?

– Я ночевал за двадцать верст от вас, в Казачьем хуторе.

– Отчего же не у меня? Ну так я покажу вам вашу комнату, пожалуйста, освежитесь.

– В комнату, если позволите, пройду, а освежаться мне тоже не отчего, утро прохладно, и переезд сделан небольшой.

Хозяин провел Подгорского в небольшое помещение для гостей, только что прибранное после отца Игнатия. За ним внесли чемодан.

– У меня к вам, Петр Иванович, есть письмо от бывшего попечителя калмыков.

– А! Очень, очень приятно. Ну что он? Здоров ли? Как устроился?

– Все как следует. Благодаря ему, я, подъезжая к вам, знал, что значит этот бивак подле вашего дома.

– Да, да, все по-старому. Сегодня у меня их особенно много; время жаркое и хирургическим больным очень тяжело. Вот уже одиннадцатый час, а я еще не кончил с ними.

– Так позвольте уж и мне посмотреть.

– Сделайте ваше одолжение.

Любопытства ради Семен Андреевич присутствовал при приеме больных.

Какие страшные язвы зияли перед ним, какие виделись страдания людские, изредка сопровождаемые в ответ на резание ножа, на острую боль прижигания или прополаскивания, то стоном, то криком, – предстали перед ним! Даже в описании дантовского ада мало таких картин страждущего человечества, как те, что нашли себе место тут, на берегу Волги.

Но еще поразительнее казалось Семену Андреевичу то невозмутимое, как бы нечеловеческое хладнокровие, с которым врач исполнял свои обязанности, подвязав белый передник и засучив рукава; словно мясник какой-то вылущивал он, вырезал, жег, сшивал.

Надо, однако, быть бессердечным, – думалось Семену Андреевичу, – чтобы делать все это с такую невозмутимостью!

Гость почувствовал вначале даже какое-то отвращение к хирургу, но чувство это исчезло так же быстро, как пришло и, так сказать, потонуло в том море спокойствия и сознания исполняемого долга, которые сказывались в твердых движениях руки Петра Ивановича. К часам двенадцати утра резания, прижигания, перевязывания подошли к концу, и на многих из приехавших калмыков, немцев и русских, готовившихся к отбытию, белели чистые повязки и бинты.

Покончив работу и отпустив последнего из больных, Петр Иванович снял свой передник, прибрал инструменты и тщательно обмыл руки.

– Ну-с, теперь можно и к жене пройти, – проговорил Петр Иванович, вытирая руки полотенцем, – это время ее завтрака. Милости просим!

Хозяин провел гостя в сад, расположенный в котловине, по косоветру. Беседка, к которой спускались они, находилась как раз на полпути к низменным, песчаным наносам Волги и совершенно утопала в зелени. Оттененная высокими осокорями, она была обвита, как громадной сетью, изумрудною листвою тыквы, расположенною на светлых змеевидных стеблях. Наталья Петровна действительно уже сидела подле стола и, покуривая папиросу, допивала вторую чашку кофе. Она приняла гостя очень любезно, протянула руку и просила сесть.

– А я теперь, с вашего позволения, – сказал Петр Иванович, – пойду журнал сегодняшним больным писать.

– Чудесная литература, – громко проговорила Наталья Петровна, – прыщи, раки, наросты, вывихи, изломы!..

Петр Иванович улыбнулся и ушел. Подгорского будто что кольнуло в сердце. С минуты прихода в беседку Семен Андреевич не мог не заметить красоты Натальи Петровны и весьма свободного обращения, вполне соответствовавшего той славе, которая о ней ходила. В голубоватой тени беседки, кое-где прорезанной необычайно жгучими, чисто итальянскими лучами солнца, она казалась брюлловской картиной. На ней было белое баржевое платье с кружевной оборкой, сквозь которую бежала пунцовая ленточка; черные глаза под тонкими, чрезвычайно изящными бровями и черные волосы, заплетенные в могучую косу, кое-как приколотую на затылке шпильками, заметны были резче остального.

– Ну, как понравилась вам, Семен Андреевич, мясницкая мастерская моего мужа? Аппетит к кофе возбудила? Не хотите ли?

Подгорский отказался.

– Нет, серьезно, – продолжала Наталья Петровна, – я не знаю, как другие, но для меня это невыносимо.

Семен Андреевич находился под впечатлением чрезвычайно смутным; задумчиво настроенный деятельностью доктора, он, подле жены его, во внимании к красоте ее и в особенности припоминая рассказы о ней, был сразу объят стремительною самых непримиримых одно с другим чувств. Противоречивость этих чувств вызвала в нем помимо его воли прежде всего недовольство собою, потому что он попал в это положение совершенно помимо желания и не мог не сознавать, что как-то связан, лишен свободы действий, что он – сам не свой. Это настроение выразилось в нем прежде всего молчаливостью. Она становилась еще несурзнее благодаря некоторой особенности его характера: Семен Андреевич чрезвычайно быстро привязывался к женщине, перемен не любил, а тут, во всеоружии красоты, свободы и полной доступности, выросла перед ним, в степях, словно из земли поднялась, женщина, видимо, неспособная к мало-мальски продолжительной привязанности. Молчаливость его становилась молчаливостью злобною.

«Черт занес меня сюда, однако!» – думалось ему, и это было как бы неким разрешением путаницы мыслей и чувств.

Разговор не клеился. Подгорский воспользовался своим положением приезжего из столицы и нагородил целый ворох сведений о том, о сем, что для Натальи Петровны, во всяком случае, являлось новинкою. Он умел говорить и, очень хорошо прикрывая состояние своего духа словами, иногда очень ловкими, вызывал в хозяйке улыбки и даже смешки. Она, несомненно, обманулась в нем; ничто так не подкупает женщин, как умение заставить их смеяться; мужчину этим не подкупишь.

– Вы едете в Астрахань, Семен Андреевич? – проговорила она.

– Да-с.

– И мне туда надобно. Хотите, поедем вместе? Вы на сколько времени едете?

– Право, не знаю, – чуть слышно проговорил Подгорский, окончательно сбитый с толку предложением Натальи Петровны: она, видимо, не теряла времени.

– Там гостит теперь какой-то цыганский хор. Вы цыган любите?

– Очень люблю, в особенности, если их слушать в присутствии хорошеньких женщин, – быстро ответил Семен Андреевич, словно выпалил, для придания себе бодрости, но в то же самое время почувствовал какую-то необычайную тоску, как бы боль в сердце, какую-то томительную глупость, безвыходность своего положения.

«Да она, словно всасывает меня в себя, как та красавица на Цейлоне, о которой говорил мне мой приятель, кругосветный путешественник: после двух дней стоянки, его пришлось тащить на фрегат почти силою, по приказанию капитана», – подумал Подгорский и, не без удовольствия, заметил спускавшегося по косоугору Петра Ивановича. С ним шло освобождение. За хозяином следовал какой-то отставной военный, человек лет тридцати, с тоненькими усиками и несомненно красивой наружности.

– Федор Лукич! Милости просим! – громко произнесла Наталья Петровна, – какими судьбами?

«Вероятно, один из счастливцев?» – невольно подумал Семен Андреевич, опытный в этих делах.

– Я к вам с предложением, – ответил Федор Лукич развязно, войдя в беседку.

Новых знакомцев представили друг дружке; когда все заняли места, то Федор Лукич объяснил, что сегодня, к трем часам пополудни, прибудет дистанционный путейский пароход, что на нем едет большое общество, что цель путешествия – рыбная ловля en grand: с собою везут сети, рыбаков, палатки для устройства бивака, припасы, что взят повар исправника и что прогулка рассчитана на три дня.

– Может быть, и гость поедет с нами, – проговорил Федор Лукич, – а может быть, и сам Петр Иванович? Будут все власти: исправник, товарищ прокурора, следователь, лесничий, инженер, путеец, акцизный, так что на целых три дня люди останутся без всякого управления.

– Да, да, поедемте, Семен Андреевич, отличные господа! Ознакомьтесь также с нашими рыбаками, – проговорила Наталья Петровна.

– Нет, благодарю вас, мне нельзя будет, так как я уже распорядился о вызове сюда нескольких калмыцких старшин.

– О! мы их назад отправим, – уверенно и четко проговорил Федор Лукич, – стоит только сказать исправнику и конец.

– Нет! Увольте, прошу вас, много благодарен.

– А ты, Петр Иванович? – спросила хозяйка.

– Я с гостем останусь.

– Да, уж Петра Ивановича не вытащишь, – проговорил отставной военный. – И такую хорошенькую жену, да на целых три дня отпускать, да еще с такими, как мы, молодцами – это смело, очень смело, – добавил он с каким-то худо скрытым и даже нескрываемым цинизмом.

«Должно быть, – думалось Подгорскому, – этот господин действительно является очередным у Натальи Петровны?»

Положение Подгорского стало как-то чрезвычайно неловко; он взглянул исподлобья на Петра Ивановича; хозяин чуть-чуть покачал головою, и едва заметная снисходительная улыбочка промелькнула по губам его.

– Ну уж! К этому мы привыкли, – заметила очень громко Наталья Петровна и махнула рукою.

«Несомненно, что мое предположение верно», – заключил мысленно Подгорский.

Разговор перешел на разные предметы, касающиеся края; говорили о рыбной ловле, о каких-то недавно произведенных в одном из курганов раскопках; позлословили насчет некоторых из лиц, отправлявшихся на прогулку, курили папиросы, пили кофе и, наконец, разошлись.

III

– Едут! Едут! – закричал часа в два пополудни Федор Лукич, взбегая по крутизне сада к дому от берега Волги.

– Вот это правильно! – ответила ему из окна Наталья Петровна.

Она высунулась из окна и взглянула сквозь листву высоких осокорей вверх по Волге. Действительно: черный дым парохода виднелся явственно в ярком свете горячего дня за одним из отрогов, и минут через тридцать после этого, подле домика Петра Ивановича образовались две своеобразные, одна с другою не сливавшиеся кучки людей, весьма типичные для живописца.

В одной кучке, здороваясь у подъезда с хозяйкою и Федором Лукичом, толпились приезжие гости, пассажиры парохода, съехавшие на берег всем обществом для принятия на пароход Натальи Петровны. Чрезвычайно длинный, с гусиной шеей, представитель прокуратуры с женою, как нельзя более походившей на уточку; сухой, болезненный, вероятно, чахоточный, судебный следователь; немного сутуловатый горный инженер с биноклем на ремне через плечо; очень жирный акцизный чиновник с племянницею (под этим именем известна была хозяйка его дома, одна из величайших мастериц мира в кулинарном искусстве, что немало способствовало прочности связи дяди с племянницею); лесничий, молодой человек, не более двух лет тому назад окончивший Лесной институт и сильно приударявший за только что названною кулинарною племянницею; он же корреспондировал в столичные газеты и в этом отношении считал себя двойною властью. Вполне величествен оказался начальник парохода, громадный путеец; он и взошел-то на гору позже всех, и здоровался с меньшим наклоном головы; за спиною его покачивалось ружье, и красивая, почти розовая собака из породы сеттеров с помесью левретки не отходила от его ноги. Эта кучка гостей шумела, егозила, двигалась, много смеялась, и на светлых одеяниях ее, на кителях мужчин, на белых зонтиках и легких платьях дам как бы лежало сиянье: так любо было жаркому, степному солнцу глядеть на этих веселых, смеющихся, довольных миром и собою людей.

Другая кучка, расположившаяся на некотором удалении от подъезда, между кибиток и тарантасиков, представляла из себя нечто вполне противоположное. Полное молчание царило над нею, и ярко белели между серых кафтанов, охабней и темных женских юбок молочно-светлые перевязки и бинты, недавно наложенные Петром Ивановичем. Невзрачные, скуластые, с реденькими бородками калмыки, толстые, сочные колонисты-немцы и очень немногие русские; больные, сидя, другие – здоровые, стоя, взирали на приезжих, почтительно сняв шапки. Не было между ними лиц, если не задумчивых, то, по крайней мере, не сосредоточенных, и, насколько смеялась и тараторила первая кучка здоровых представителей власти, настолько молчала и соображала вторая кучка, состоявшая из большого народа.

– А, это ты, Захар! – проговорил лесничий, завидев в последней кучке осанистого мужика и подходя к нему. – Какие это у тебя неклеименные бревна нашлись? Не в первый раз, братец! Смотри, плохо придется.

– Да ведь он и у меня свидетелем по другому делу вызван; сегодня повестку послали, – добавил судебный следователь, подойдя к Захару вплотную.

Захар поворачивал шапку в руках и молчал.

– А где же, господа, главная власть, исправник, Фаддей Фаддеич? – громко проговорила хозяйка, не замечая его между прибывшими.

Ей объяснил немедленно судебный следователь, что исправник по пути съехал на другой берег Волги, где его ожидал становой, для получения каких-то приказаний относительно недалекой отсюда ватаги рыболовов.

Вышел, наконец, на крыльцо и сам Петр Иванович. Длинный, бледноватый, с проседью в бороде, он, здороваясь с приезжими, просил зайти в дом, но этого не исполнили, а прошли прямо в сад, в беседку. Там находился Семен Андреевич – последовало взаимное представление, приглашение гостя принять участие в прогулке, его отказ, упрасивания и опять отказ, и, наконец, минут через двадцать вся шумная компания налетевших властей направилась к парходу, и в Родниковке настала глубочайшая тишина; молчание яркой степи отовсюду надвинулось на нее.

Наступил пятый час – время обеда, и Петр Иванович с Семеном Андреевичем отправились к столу, накрытому в беседке. Разговор между ними принял не сразу определенное направление, но к концу обеда он стал любопытен обоим.

– Да, – говорил Семен Андреевич, глотнув кофе и потянув дым своей чрезвычайно тоненькой папироски, – я очень интересуюсь именно метафизическими вопросами и, при том направлении, которое имеют современные исследования естественных наук, я положительно недоумеваю: как можно не интересоваться ими. Ведь связь духа с материей так наглядна, так ощутима, что, право, не видит ее разве только слепой.

– Вы, Семен Андреевич, говорите, что интересуетесь метафизическими вопросами, но я за метафизику, простите меня, гроша не дам. Хотя очень умный человек Погодин и сказал, что метафизического никто не искоренит из человеческого духа, но я – живое ему опровержение. Что касается до связи духа с материей, то это дело другого рода; но мне любопытно знать: говорите вы это *in verba magistri* человека, занимавшегося естественными науками и философией с равной любовью, или только со слов других?

– Нет, я занимался ими и никак не забуду, как в моем присутствии закончил в Гейдельбергском университете свои лекции о результатах естественных наук знаменитый Гельмгольц.

– А вы слушали и его? – перебил, видимо, затронутый за живое хозяин.

– Да, и очень долго. Он ознакомил нас с результатами, с последними словами естествознания; читал он нам по пяти раз в неделю, и аудитория его бывала полнехонька. Нам, слушателям, на последней лекции он сказал: «Господа, прощаясь с вами, я должен на дорогу вам сказать следующих несколько очень веских слов. Не все, господа, можем мы объяснять одними только физико-химическими законами: есть вопросы, дойдя до которых естествознание останавливается, и по-видимому, начинают действовать законы другой компетенции, а именно: философии и метафизики, изложение которых в мою задачу не входит и должно быть представлено другим. Прощайте, господа, – заключил профессор, – и помните мои слова».

– Он так это и сказал? Вы помните хорошо? – спросил видимо встревоженный Петр Иванович.

– Помню, у меня эти слова даже записаны.

– Как удивительно, однако, совпадают они, – продолжал хозяин, – с другою картинкою, другого мыслителя – Вундта! Вы и его слушали? Ведь он тоже профессорствовал в Гейдельберге, кажется, одновременно с Гельмгольцем?

– Да, и его слушал.

Петр Иванович протянул гостю руку и, с видимым удовольствием, пожал ее.

– Да, это было славное время Гейдельбергского университета, – заметил Подгорский. Тогда еще Страсбург принадлежал французам. Я не раз беседовал с Шлоссером, Страусом, Гервинусом, Миттермайером, Киркгофом, Бунзенем, Блюнчли... теперь, кажется, большинство их в могилах.

– Да, да. Вундт говорил совершенно то же, что и Гельмгольц, – продолжал Петр Иванович, как бы кончая вслух мышление, совершившееся втихомолку, – я вам найду это место, найду... Вундт говорит приблизительно так: на все решительно, что лежит перед нами в самом полном свете познания, накладывает свою колоссальную тень причина причин, и, дальше говорит он, что на все живущее ложится хотя что-нибудь из бесконечности идей религии... и это сказал не присяжный теолог, а крупный исследователь-естественник!

– Однако, – возразил Семен Андреевич, – о бессмертии души человеческой никто из них не заикался?

Эти слова сказаны были гостем с целью окончательного определения почвы, на которую хотелось ему вызвать «профессора бессмертия». Он не ошибся: Петр Иванович, видимо, очень довольный совершенно неожиданной возможностью говорить с учеником Шлоссера, Гервинуса, Гельмгольца и других, развернулся всем своим существом. Глаза его блестели, и он кинул недокуренную папиросу на землю.

– Мне очень приятно видеть, – проговорил Семен Андреевич, вовсе не желая мешать хозяину и обливать его холодной водою, – что вы, врач, естественник, думаете таким образом.

– Я не первый-с, много было первых. Припоминаю я, что по смерти знаменитого маленького Тьера, было где-то напечатано, если не ошибаюсь, в газете «Liberte», что в бумагах его найдена рукопись, задачей которой было доказать бессмертие души естественно-научным путем! Это думал сделать Тьер, а Кант, как вы это знаете, конечно, лучше меня, писал, что бессмертие души должно быть отнюдь не созданием верования, а логической несомненностью. Оба они глубоко справедливы, очень глубоко, и это можно доказать.

Петр Иванович остановился. Он поплыл на всех парусах по хорошо знакомому ему морю, и Семену Андреевичу предстояло очень немного труда, чтобы подогнуть это плавание.

– Послушайте, Семен Андреевич, – сказал Абатулов после непродолжительного молчания, – я вижу, что эти два – три дня, что вы проведете у меня, будут рядом беседований, но до того, чтобы разумно беседовать, прочтите небольшую тетрадку, мною написанную. У меня, видите ли, доведена до конца очень большая работа, доказывающая бессмертие души человека естественно-научным путем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.